

РАЗДЕЛ I. Общие вопросы изучения современной литературы в критике

Сергей Шаргунов

ОТРИЦАНИЕ ТРАУРА¹

Бедность – не эпилог. Серьезная литература больше не нужна народу. Несложно подметить: в метро каждый третий мертвецки уткнулся в гляцевый томик. Масскультура берет свое. С inferнальным кличем рвут потребителя на части телевизор, Интернет, новый роман Дашковой... Причины всем известны. «Сколь волка ни корми – все в лес смотрит». Чуть только диапазон чтения расширился, массы, которым литературу навязывали, отвернулись от нее.

Но дело в том, что все происходящее имеет условное отношение к подлинному, глубинному художественному чувству. Да, «волк» (средний человек) предпочел очевидное, моментально уловив нюхом зов лесных дебрей. Но как тип, скулящий и скалящийся сквозь столетия, «волк» все равно значительней и интересней любых самых бесподобных текстов.

Искусство действительно принадлежит народу – больше, чем это можно себе представить. Народ не утрачивает ярких стихийных талантов и сил. Внутренних красот не теряет. И малолетки, которые у меня под окном, комкая белейший январский снежок, образно вопят о снеге: «Герыч!» (героин) – пронизаны живым природным лиризмом прапрабабок-сказочниц...

Постсоветским литераторам должно быть стыдно ссылаться на свою не востребуемость массами. А в дореволюционной России безграмотная деревня (большинство) читала, что ли, у русских классиков про себя, деревню? И разве не понятно, что городской мещанин спешил приобрести не «Петербург» Белого, а «Приключения Ната Пинкертона»... По-прежнему не массовый спрос будет определять значимость текста, а талант писателя. Сколько лишь после кончины получили признание! А вся мировая литература, та, что за плечами, с тех пор, как массы ее читать, видите ли, перестали, – она что, обесценивается, исчезает? Как и раньше, занимают свой пьедестал все, Олейников и античный Катулл, и не блекнут, каким бы ни был процент их нынешних читателей.

Самое болезненное для «плакальщиков литературы» – материальное положение... Да, в незаидеологизированном обществе литература невыгодна. А в заидеологизированном – писали и в стол. И стоит ли напоминать, что в

¹ Новый мир. 2001. №12. С. 179-184.

общую могилу сбросили Моцарта, нищенское существование влачило бесчисленное множество писателей, те же эмигранты (сердобольный Бунин раздавал братьям свою Нобелевскую премию и сам умер бедняком).

Привычный для искусства климат. Отбор талантов по призванию, не корысти ради. Талант уникален, явен, талант не пропадет. Бертран Рассел еще радикальнее заявлял, что, если бы был принят закон, по которому каждого автора, написавшего свою первую книгу, сажали бы в тюрьму на шесть месяцев, только хорошие авторы брались бы за перо. И что же? «Нетворческое время», – сопят номенклатурные литераторы, попав из князей в грязь и в ней безрадостно барахтаясь...

Вообще говоря, бедность поэтична. Благословенная бедность. Четкость зыбкой зари, близость к природе, к наивным следам коз и собак на глине, полным воды и небес, худоба, почти растворение... «Бежать» пышущего бредом благополучия, «забот призрачного света», проблем виртуальных тусовок – очаровательно и спасительно для писателя. Можно при этом оставаться на месте. Никуда не бежать. Помнится, у Кнута Гамсуна в «Голоде» герой, голодный и измученный, лихорадочно пишет в невыносимой обстановке чужого галдящего дома, на птичьих правах, а наедине с собой, в спокойном одиночестве, – теряется. Его одиночество еще более обостряется среди гвалта, это воинственное одиночество, он не расслаблен, весь в преодолении.

Толстосум – по определению бездарен. Что такое роскошь? Тупая пресыщенность, тучное хамство, тошнота. Литература – алчущие и жаждущие. Тонкая, с голубыми прожилками кисть на древесной грубости рабочего стола вместо дебели лапицы на чьей-то похабно расплывающейся ляжке... На одном полюсе – истертая ниточка родного крестика или вовсе «эх-эх, без креста», прокопченные висельные шеи. На другом – рвотно-золотая цепь, адов жернов... Элементарные образы.

Но я вовсе не хочу сказать, что место писателя в пыльном убогом углу. Лично я уверен: в идеале государством вправе управлять писатель. Писатель обладает главным – властью описания. Сам по себе «ответственный специалист» – слепой червь. Вот кто изначально опасен. Это матрешка чиновничества, когда нет человека, а есть вешалка и пиджак под пиджаком. Он не знает о жизни и смерти, не знаком с силой слова, не сможет постичь принципиальный смысл отнимающей дыхание красоты. У Хлебникова «на сердце бросает цветы» нагая свобода, обезумевший «самодержавный народ» шагает с нею в ногу. Брюсов считал, что все люди должны заколотиться сердцами в ритме поэзии. Горький – что всех можно научить писательствовать. Эти суждения кому-то покажутся романтическими, необоснованными. Однако за ними скрывается претензия. Писатели не открыто, исподволь признаются: «Мы могли бы. Мы бы сделали». Вся правда в том, что бумага тянется к перу, а не только «перо к бумаге» – здесь смысл настоящей власти. Народ – жертва и любовник поэзии – иррационально мудр, готов признать в своем своего. Народ принадлежит искусству. В этом разгадка России.

Каков вывод? Какова роль писателя? Антон Чехов в воспоминаниях Ивана Бунина провозглашает: «Писатель должен быть нищим... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!» И он же, Чехов: «Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог... купить себе весь Кавказ или Гималаи...» И тут нету противоречий, а есть «выспренняя диалектика». Претендовать на все и довольствоваться малым.

Агония постмодернизма. Крайне распространено также мнение, что для литературы фатален «постмодернистский эксперимент». Постмодернизм якобы несовместим с самим существованием литературы. Оговоримся, что предметом наших рассуждений не является выяснение степени одаренности (подчас несомненной) тех или иных авторов. Нам важна суть постмодернизма, его внутренняя логика.

Человеку нового российского поколения не придет в голову пародировать окружающую его родную реальность, да еще через гримасы неродного советского периода. В этом исключительная прерогатива постмодернистов. В этом закономерность их появления, и их роль – пробить, прокукарекать новое историческое время. Постмодернисты – часы со смехом. Смеясь, они расстаются с прошлым. Смеясь, они дичатся нарождающегося настоящего. Так нервно гогочет выросший в чаще Маугли, выбравшись на опушку. Пелевин главу в «Жизни насекомых» озаглавил «Русский лес» (роман Л. Леонова). Сорокин, писатель богемной среды советских лет, современен почти настолько же, насколько А. Вознесенский с его поэмой про Интернет...

Постмодернистский процесс глобален, не ограничен эксо-социалистическим пространством. Во всем мире с исчезновением двуполярности после «холодной войны» иронично сползают и осыпаются некогда агрессивные редуты. Повсеместный постмодернизм – культурная разрядка, результат открытости, смены декораций. Но в плане современных реалий – это смешок извне, реакция «не вписавшихся».

Что до пресловутых масс, в лучшем случае о Пелевине – Сорокине слышали звон. Читают их студенты гуманитарных вузов. «Ну как?» – спрашивал я. И всегда в ответах проскальзывало отчуждение. Сорокин почти никакого ущерба литературе не наносит, отзываются о нем с усмешкой небрежения. И он с уже приевшимися фекалиями, и Пелевин с «восточными единоборствами» способны добиться личного успеха, но не переворота в литературе. Постмодернистские произведения – цирковой номер, фокус. Следишь, ждешь, задрав голову: что еще выкинет, чем удивит еще? Постмодернизм как тенденция заведомо исчерпан, должен пересохнуть.

Молодой человек инкрустирован в свою среду и в свою эпоху, свежо смотрит на мир, что бы в мире до того ни случилось... Два старших брата (Пелевин и Сорокин) раскатисто похохатывают над беспомощным отцом Ноем (традиционная литература), но младшенький не желает смеяться. Грядет смена смеха. Грядет новый реализм.

Мне могут замогильно рассудительно заметить: а уместно ли вообще обсуждать перспективы литературы? Ладно, предпочтение читателем

дешевого чтива – в порядке вещей, но ведь само отношение к писателю в России, почти благоговейное, сменяется чуть ли не презрением... Литература измельчала как явление. Масскультура победно колесит по миру, оставляя чудовищные колеи. И это участь человечества. Что ответить? Я против такого пути, я за палки в сверкающие колеса цивилизации. За насаждение литературы! Но, увы, невозможно не признать: в современном обществе литература обречена на локальность. Литература потеряла прежнее влияние, развивается в условиях резервации...

И тогда кто-то задается вопросом: а сохранится ли вообще литература? Не сбросит ли ее реальность, как змея кожу?

Ответ прост: по-прежнему остается живой набор персонажей. Пока есть персонажи, ничего с литературой не случится. Реализм не исчерпывается. Реализм, нескончаемо обновляясь вместе с самой реальностью, остается волшебно моложе постмодернизма. Типаж сохраняет знакомые (хоть по Фонвизину, хоть по Теккерю) черты, типаж жив, увлекательно отмечать в нем перемены в свете новых обстоятельств. Вот они, истинные бесчисленные фокусы!

Мы постоянно слышим об угрозе забвения молодежью литературы: молодые уже не знают и не читают классику, для них русская классика устарела, занудна... Понятно, что громче всех о неактуальности прошлой литературы вопят все те же постмодернисты, и это они ее скидывают со своего «парохода пародий»... Сорокин раздражается пародиями на прозу Толстого и Достоевского, кривляется над виршами Пастернака и Ахматовой... Но возникает вопрос: а для какого читателя такие старания? Если и впрямь следовать логике постмодернистов (общее варварство, архаичная литература), то они, наоборот, лишь привлекают читательское внимание к «архаике», прививают к ней интерес. Может, далее последуют пародии на Языкова? Третьяковского?

Постмодернисты – чем дальше, тем больше – оборачиваются не очистительной силой, а литературоведческим безвредно хихикающим кружком. По интересам этот кружок – сверхархаичен. А как же? Если то, что вы пародируете, – устарело, то ваша пародия – вдвое архаичнее. Постмодернист – змея, кусающая себя за хвост.

У проблемы постмодерна есть еще один аспект. Это уровень метафизики литературы или, лучше сказать, ее физиологии. Попсовый смешок чужероден организму литературы, литературу начинает трясти рвотой, и видно по самим постмодернистам, что они насилюют себя, подстраиваясь под определенный эталон стиля. Писать всерьез было бы и для них легче.

В чем отличие писателя от обывателя, литературы от фельетона? Ты царь: живи один. Дело не в побеге, не в буквальном уединении (можно смешаться с толпой), а в восприятии. Подлинный писатель в глазах фельетониста – «идиот», дефективный. Он не просто заигрывает с реальностью, но выдвигает свою. Фельетон – это скользкие праздные взгляды публики... Писатель же видит предмет рельефно ли, туманно ли, но как личное – то есть всерьез.

Писатель серьезен всегда. Это не значит, что он насуплен, чугунно сосредоточен, морально выверен. Его серьезность даже разнится с серой серьезностью, с обыденно-поверхностной адекватностью. Но – «как творящий ты переживаешь самого себя – ты перестаешь быть своим современником» (Ницше). Подлинная литература неадекватна штампу, а фельетон – да. Фельетон лишь выигрывает от расхожих словечек. Фельетон должен быть адекватен публике, даже пошлости...

Слова фельетона рабские, тогда как настоящее произведение определяется самостоятельностью автора, свежестью стиля, и удача здесь достигается именно в отрыве от штампа. (При этом гениальный текст может весь состоять из сознательных клише, и это будет лучший способ их изживания, победа над ними. Зощенко оседлал штамп, у него штамп, по сути, пародирует сам себя.)

Прием иронических аллюзий не нов. Достаточно вспомнить «Евгения Онегина» с прямыми пародиями на других поэтов. Или – концентрация этого приема – зловещие «Песни Мальдорора» Лотреамона, в которых тот то и дело изысканно пародирует тексты Бодлера, Байрона, Ламартина, так что личность автора (Изидор Дюкасс) растворяется в цитатах. Но в результате постмодерн самопреодолевается. Лотреамон переходит к предельной серьезности. Отрицая ёрничанье, он утверждает в ядовитой горечи: «Свидетельствую: в нашем мире нет ничего, над чем пристало бы смеяться». «Обычная скептически насмешливая манера» – то, что нужно преодолеть. Отсюда вывод: «Поэзия везде, где только нет дурацкой и глумливой улыбки человека, с его утиной рожей» («Песни Мальдорора»).

Реализм – «постмодернизм постмодернизма» – неотвратим. Через наслоения пародий новый человек (даже варвар – тем лучше) обнаруживает твердую первооснову, заново открывает литературную традицию. Объект пародий оказывается самоценен, остальное же раздражает как недоразумение.

Тщательные наблюдения приводят к выводу: в текстах поколения двадцатилетних доминирует дух серьезного, абсолютно разнящийся не просто с постмодерном, но и со стёбовыми опытами позднесоветского, всего на десятилетие старше, поколения. Литература, опрокинутая с ног на голову, обречена. Ее резко повернут обратно.

Можно пророчествовать: сойдет на нет и обилие психоделических и фантастических текстов. Литература будет свободна от отвлекающих факторов («невнятность» окажется не в чести...). Будет достоверный вымысел. Уже сейчас никчемна психоделическая густая заумь. Отвратны претенциозные тексты, в которых зверьки-мутанты поедают бесконечные волосы какого-нибудь Мао... Неактуально удаление в скучный «космизм»... Действительность преодолевают через земное притяжение.

Новый «русский ренессанс»? Мы не можем не вспомнить тему «гражданственности»... Писатели разбегаются двумя стадами в две бездарно сухие степи. Друг друга оценивают не с позиций искусства. Налицо примитивизм подходов. Это, конечно, истеричное наследие: организованное

писательство, или даже две фракции – два писательства, но не сам писатель как противоречивая личность.

Но тут возникает внезапный поворот. В рамках советского строя натурален был именно безумный, перверсионный характер литературного противоборства. Стороны были далеки от стандартного деления «консерватизм – прогрессизм», и их вражда по сей день осталась хоть и грубой, но хаотичной, живой... Размежевание в отечественной литературе не выглядит завершенным и необратимым, не сформированы беспощадные секторы «политкорректности» и «маргинальности».

В свое оправдание, в подтверждение правомерности своей перепалки литераторы часто ссылаются на традицию. Всегда было два враждебных гражданственных полюса, – указывают они на витиеватую распря «славянофилов» и «западников». Здесь-то и начинается самое интересное. Действительно, определенные обстоятельства роднят литературных неприятелей времен советизма со «славянофилами»/«западниками». Это не только тотальный фон Государства, но и все та же корявая самобытность «предков», причудливость, развитие поединка вдали от западной классической баталии. При всей болезненной резкости оценок происходило идейное взаимопроникновение – петрашевец делался богоискателем, смыкались анархический бунт и идеализация допетровской Руси.

Наше внимание приковывает не столько сам поединок, сколь его развязка. Исследователи (в частности, историк Михаил Агурский) называют детищем «славянофилов»/«западников» – «серебряный век», момент, когда две идейные тенденции с плеском слились в один свободный поток. Былая нелепая специфика спасает русскую литературу. О парадоксальном синтезе черт двух противоположных станов подробно и предметно рассуждает Александр Эткинд. Итак, уместно провести аналогию. Аналогия, замешенная на надежде, тем более уместна, что наступающее творческое поколение (я это отмечаю) несказанно эклектичнее и раскованнее предыдущего. Как известно, цветом «русского ренессанса» были новорожденные конца XIX века, 80-х, 90-х его годов. И вот – поколение, возникшее столетие спустя, накануне и на гребне перестройки...

Явился новый контекст, в котором писатель далек от предвзятости и идейной брони. Само геополитическое противостояние уступило иным вариантам. И это не однополярность. «Торжество USA» – пиррова победа. Обломан советский рог, в который упирался рог американский, нарушено равновесие, мир делается недисциплинированным, непolitкорректным, во всех смыслах цветным. Русская литература вследствие непостижимых траекторий рискует очутиться в авангарде нового процесса. Для литературы – это возможность подлинной свободы, не сдавленной тенденциозностью.

Я фокусирую внимание на России, где развитие тенденции обещает быть особо показательным. Этот процесс в чем-то вторичен (докатываются волны чуть ли не полувековой давности, в частности, экзистенциалистский бум), но как известно, русские подражают французам, а те в изумлении изучают получившееся.

Идеологическое общество сочиняло разнообразные отвлекающие сюжеты, адресованные прежде всего молодым. Сейчас же именно молодежь оказалась абсолютно нага перед смертью, никак не прикрыта. Сократилась былая дистанция между человеком и его персональным исчезновением. Чем ярче смерть, тем туманней и сам человек, и его «окрестности». В условиях, когда любые общественные схемы на поверку оборачиваются кошмаром, а отцы лишь беспомощно оправдываются, сыновья получают урок: фиаско идеологических концепций как итог XX века в России.

Однако именно в новых идейных условиях прозе некуда податься, кроме как в реализм (от будущей поэзии надо ждать акмеистских ноток и возрастания сюжетности). Как понимание «тщеты» придает личности дикие силы, способствует безоглядной энергичности, так и отмирание идеологий и социальных схем эстетизирует высвободившуюся реальность. Реальность опять внешне привлекательна, и чешуя ее вспыхивает солнечно...

Человек не в силах побороть расползающуюся убийственную реальность. Но можно выделить две попытки «отмститься», очень схожие на подсознательном уровне. Либо реализовать самому, обрести некий «статус», успеть подпрыгнуть над черной ямой. Либо продублировать реальность, клонировав ее в искусство (мир идеального). Тут и раскрывается особый смысл реалистического метода. Реалист застает и «вяжет» время на месте преступления.

Стиль. Но если и постмодерн, и идеологические кандалы – это беды временные, то более изощренную угрозу я различаю со стороны Стиля. Недавно один из членов жюри одной основной «качественной» премии признался, что ему сложно было приняться за чтение романов, включенных в шорт-лист. Но он себя принудил и далее устало выдыхает: мы, конечно, привыкли к чеховской ясности, но все меняется, теперь подражают западным образцам, приходится считаться... Уместна ли эта усталая покорность? Ведь это не первый отзвук. Неспроста многие тонкие натуры (ценители и ревнители словесности) жаловались мне, что никак не могут осилить тексты, чванливо именуемые качественными...

Не будем называть имен и отдельных вещей. Но в то время, как Пелевин с Сорокиным развлекают, как умеют, их «оппоненты» картонно пресны. «Вы чё, убитые?» – в пору вскрикнуть плакатным языком тинейджера. Я понимаю всю сложность и противоречивость литературной сферы, и все же: в настоящей прозе всегда есть жизнь и полет. Чехов, Бунин, Горький, Куприн. Персонажи, сюжет, краски, образность... Сегодняшняя «качественная» проза почти лишена художественности. Нагромождение сложных обесцвеченных предложений, пошлость, мизерность, сальная антипоэтичность... Невнятная «бытовуха», тухлые котлеты... И тянется, тянется предложение за предложением – о ком? о чем? – слякотная проза...

В глупых бульварных романчиках (в этой наскальной живописи) и то больше свежести! Вот и Акунин затерялся бы – ну да, интеллигентный гладкий слог, – если бы не детективная форма, которая освежает его тексты и даже как-то... облагораживает.

А между тем наши «истинные» литераторы день и ночь плюют на Пелевина и Сорокина. Этих двух избрали символами деградации. Писательские средства, мол, у них не изобразительные, а назывные. Но неужели известна та пшеница, которую можно отделить от «пелевинских плевел» и «сорокинского сора» (или что там у С.?)? Где она, в каких закромах? Видимо, подразумевается, что в пике постмодернистам (популярным, мол, дешевкам) созданы некие произведения, обойденные надлежащим вниманием публики. Но выходит, что дело вовсе не в слепоте читателя, соблазненного постмодерном, а в отсутствии действительно качественной альтернативы. И это ни в коей мере не вина журналов, которые пестуют любой намек на талант, из последних сил сберегая литературу...

Мне лично понятно, откуда взялась вялая мутность некоторых позднесоветских прозаиков. Из предперестроечных комплексов, из «ущемленных», безгневных к привычному увлечений и опытов.

Мы знаем крайне разные варианты искусства. Искусство – цветущий беспрепятственно и дико куст, где и шип зла, и яркий цветок, и бледный листок. Кому мил этот вариант – тот за устранение любых препон искусству. Мы знаем другой куст, сияющий идеологической стрижкой, – искусство усеченное, обреченное на свистящие ножницы садовника. Садовник задает искусству координаты и убирает все, что их перерастает.

Но на самом деле, полноценно искусство или подвержено экзекуциям, и даже при декларативном равнодушии к читателю-зрителю, – в конечном счете и корни, и почва остаются теми же. Почва – реальность. Корни – люди.

Вглядимся. Среди пышного многоцветья – бутон реализма. Реализм – роза в саду искусства.

Я повторяю заклинание: новый реализм!

В прозу юных возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива постмодернизму. Явь не будет замутнена, сгинет саранча, по-новому задышит дух прежней традиционной литературы.

Надо сказать просто: литература неизбежна.